
Изяслав КОТЛЯРОВ

* * *

«Ах ладно», — говорю, хотя неладно, —
я жизнью день приветствую любой.
Печали бывшей радоваться надо,
а я печалюсь радости былой.
Теперь любое дело — мне деянье.
Церковны даже стены у избы...
А каждый день уже как подаянье
мною до сих пор не понятой судьбы.
Неверным не сумел остаться верным,
хоть поседел, а все-таки померк.
И грешен милосердием всемерным,
хоть нежестокосердный человек.
Наверно, это памяти наследье:
нам платит злом такая доброта...
Лишь сильного спасает милосердьё,
а слабого погубит навсегда.
«Ах ладно», — говорю, хотя неладно.

* * *

Там Вифлеемская звезда,
Вергилий, Меценат, Гораций...
В такую даль ассоциаций
не уходил я никогда.
Прочту «Всенощную Венеры» —
поэму верности без веры.
Катулл, Сенека, Апулей?
Иль Флор? Еще теперь гадают.
Кого из них предпочитают
уже фантазиями дней?
Весна, любовь, трехночный праздник
поэта слов, уже не праздных,
а растворяемых в стихах.

Изяслав Григорьевич Котляров родился в 1938 году в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Работал в газете летчиков гражданской авиации «Западная трасса», в светлогорской районной газете. Был директором Светлогорской картинной галереи «Традиция» имени Германа Прянишникова. Состоял в Союзе писателей СССР, а теперь — в Союзе писателей Беларуси и Союзе российских писателей. Автор более тридцати поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Юность», «Смена», «Студенческий меридиан», «Нева», «Аврора», «Форум», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Неман», «Немига литературная» (Минск), в альманахах «Поэзия» (Москва), «День поэзии» (Москва), «Встречи» (Филадельфия), «Поэтический Олимп» (Москва), «День поэзии» (Минск), в «Литературной газете», «Литературной России» и других изданиях. Живет в г. Светлогорске.

Он после долгого молчанья
вернулся к ним для пониманья,
а сам растаял в небесах...

* * *

Стал возраста бояться своего,
он никаких иллюзий не оставил.
Блажен, кто жив для всех и для всего
вне истин, вне коварствующих правил.
Я начинаю возрастом болеть
и знаю, что ничто неповторимо,
что он — неизлечимая болезнь,
а значит, жизнь моя неизлечима.
Я лгал ему, а он теперь не лжет, —
он мне как будто предъявляет счет,
а мне уже и нечем рассчитаться.
От лет случайных надо отказаться,
но возраст их назад не отдает.
Все чаще я на мнимой высоте,
боюсь, что искажу себя собою.
Судьба моя не стала мне судьбою...
Неужто и останется в мечте?

* * *

Непродленное продление,
явь ни в чем или ни в ком.
Гениальное сомненье,
а уверенность — потом.
Ломоносов нас упрямей,
скажет в давней той поре:
«Исполин велик и в яме.
Малый — мал и на горе...»
Необычно, просто, ясно,
удивительно к тому ж.
Все напрасное — напрасно:
глупо тщиться, коль не дюж.
И поймешь, что сам не вправе, —
да, по духу, по уму...
И поймешь, что жил не к славе,
а к позору своему.
Что в словесно-лестном шуме
пред собой уже не лжив:
абсолютно ты не умер,
относительно ты жив.
Непродленное продление...

* * *

У нынешнего дня вчерашний есть
и завтрашний, даст Бог, еще случится.
А надо много времени иметь,
чтоб как-то им от смерти защититься.
Живу под покровительством судьбы,
хотя ее и знать еще не знаю,
но каждый день сдаю не без борьбы,
не без борьбы и новый забираю.
Абстрактно о конкретном говорю,
конкретно говорю о всем абстрактном,
хоть никогда себя не повторю,—
не повторюсь ни вымыслом, ни фактом.
Да, каждому воздастся по борьбе...
Но слышу: «Отчего же ты робеешь?
Коль впрямь судьба покорствуется тебе,
ты многое, наверное, успеешь...»
Вновь голос чей-то сделался моим.
И вот меня мой голос утешает.
Он станет мной, когда я стану им,
ведь голосом поэт не умирает.

* * *

Ты будешь долго жизнью маяться,
таясь не меньше, чем тая...
«Былинка гнется, дуб ломается» —
вот философия твоя.
Есть лишь единственная спутница,
которой сутью не солжешь:
твоя же тень на путь опустится,
по тени собственной идешь.
Тобою путь твой устилается, —
и, ненавидя как любя,
ты топчешь — так лишь полагается, —
вдруг тенью ставшего себя.
Но что, скажи, ей может сделаться?
Топчи, топчи, не замечай...
Ей даже не на что надеяться —
другие топчут невзначай.
Ты тенью стал нерасторгаемой,
ты стал былинкой неломаемой, —
пускай ломаются дубы
непредсказуемой судьбы.
Ты будешь долго жизнью маяться...

* * *

Бессильны годы, если есть века, —
нас время лишь безвременьем рассудит.
Я на себя смотрю издалека,
из времени, которого не будет.
Лишь для меня? Безумием спросил...
А ум еще себя перевирает.
Я душу оттого и окрестил,
чтоб верить, что она не умирает.
Живи, живи и мной, моя душа,
и стихотворствуй, как при жизни, мною.
Тебе я, может, чем-то и мешал —
своей какой-то сущностью иною.
Словесный сумрак и словесный свет,
да, над судьбою все-таки увечной.
Все ложно перед истиной конечной,
а бесконечной — не было и нет.
Бессильны годы, если есть века...

* * *

Жизнь сама себя изобличала
и была как будто без творца.
Но опять начать ее сначала
не хочу... Вот если бы — с конца.
Да, в конце я многое исправил,
хоть ошибок вновь не избежал...
Есть, наверно, правила для правил, —
а тогда и этого не знал.
Но в конце любимую я встретил,
с ней сумел я многое найти,
старости своей же не заметил
на пути, который без пути.
Все ж боюсь годами задохнуться —
где-то очень рядом мир иной...
Я ведь не успел к себе вернуться,
да, из мыслей, ставших мне виной.
Свет печально прячется за шторой,
стала высотой глубина...
Нет в пространстве музыки, в которой
слышалась бы даже тишина.